

Николай  
ПОЛОТНЯНКО

г. Ульяновск

# СВИДАНИЕ

рассказ



1

Над облупленным куполом старой деревянной церкви кружили чёрные птицы. Впритык к храму стояла школа, и во дворе шумела ребятня, высыпающая из классов на перемену. Стояло бабье лето, было тепло и безветренно, и душа радовалась покою, воцарившемуся в природе на переломе осени и зимы.

Храм стоял на взгорке, был хорошо виден издалека, и, выйдя из дома, баба Маня привычно отыскала на голубом фоне неба его тёмный силуэт, трижды перекрестилась. Затянув покрепче узелок чёрного платка, она поправила верёвочки заплечного мешка и пошла по улице. Подходя к церкви, услышала вороний благовест над куполом и снова перекрестилась. Заботы, тяготившие её, враз стали легче, потому что здесь она уже не была одинокой семидесятипятилетней старухой, а чувствовала тепло сочувствия к своей жизни, идущее от ветхого сельского храма.

Школьный сад трепетно сгорал в пламени русской осени. Он был запущен, неухожен, а оттого прекрасен в эти яркие дни. Сухо шелестел ржавый бурьян, листва яблонь была багряна, пламенели гроздья рябин, и лишь дубки у церковной ограды были ещё зелены и свежи.

Подойдя к паперти, баба Маня снова перекрестилась и вошла. Убранство храма было бедно, во всём сквозило безнадежное сиротство, щелястые полы скрипели, и, тихонько пройдя мимо старушек, клавших поясные поклоны перед иконами, она стала высматривать батюшку.

Отец Герасим вышел из своего закутка. Одет он был в цивильное платье, волосы заплетены в косичку, на ногах сияли начищенные хромовые сапоги. Баба Маня пересекла ему дорогу у выхода.

— Что, матушка?.. — спросил отец Герасим, беря старуху под локоток.

Они вышли из храма и сели на скамейку. Священник был немолод, сердце имел доброе и, слушая свою прихожанку, участливо вздыхал.

История, случившаяся с бабой Маней, была обыкновенной и грустной. Напасти, обступившие её, возникли не вчера, а мучили уже трид-

цать лет. Сначала погиб муж. Поехал на охоту и замёрз в воде. Лодка-самоклейка прохудилась, он побрёл к берегу, да так и остался в камышах впаянным в осенний лёд. Именно тогда в горести она впервые прикоснулась к Богу в поисках утешения. Стала блюсти посты, ходить в церковь и перестала гнать брагу.

Одна беда привела за собой другую: вскорости сгорела от рака лёгкого дочь, и баба Маня осталась доживать век с внуком. Митька вырос, отслужил в армии и, не успев жениться, стал самым забулдыжным пропойцей. Из механизаторов попал в скотники, потом в тюрьму за кражу подсвинка. Вернулся, снова запил и сейчас находится на принудительном лечении. Отец Герасим знал подноготную жизни бабы Мани, но молчал и внимательно слушал. Он был верующим человеком и не удивлялся разнообразию кар, посылаемых Богом на людей. Это помогало ему жить в согласии с собственной совестью и давало силы утешать обиженных и страдающих.

— Что же ты надумала делать? — спросил отец Герасим.

Старуха вскинула на священника выцветшие глаза и достала из кармана ватной фуфайки письмо.

— Вот письмо прислал. Ругается, что на свидание не еду. Грозит. Вырастила на свою голову!.. Ты прочти, прочти, батюшка...

Отец Герасим взял письмо. Из безграмотных фраз он понял, что тот требует приезда и грозит в случае отказа разделить бабкин дом, а причитающуюся ему половину продать.

— Ерунда! — сказал отец Герасим, возвращая прихожанке письмо. — Дом без твоего согласия разделить нельзя. Да что делить? У тебя же кухня да горница...

— Я всё-таки думаю ехать к нему, — всхлипнула баба Маня. — Как посоветуете?..

— А далеко это самое заведение? — спросил священник.

— Электричкой — километров двести...

— Сообразуйся со своим здоровьем, — сказал отец Герасим, поднимаясь со скамейки. — Что тут больше скажешь...

Ничего особенного не посоветовал батюшка, но после разговора с ним на сердце у бабы Мани стало поспокойнее. Она и сама собиралась

ехать к своему непутевому внуку, но теперь это желание ещё более окрепло, и бабка, выйдя из ограды церкви, направилась к магазину. Был день привоза хлеба, и на крыльце сельмага, ожидая открытия, толпились старухи и пацаны. Баба Маня заняла очередь и, отойдя в сторону, села на деревянный ящик из-под водки.

Был полдень, жарко светило солнце, и, привалившись к бревенчатой стене сельмага, старуха задремала. Сквозь сон она слышала, как в глубине сруба со скрипом и шуршанием работают жуки-точильщики, а на крыльце разговаривают люди. Но всё это было бесконечно далеко от неё, и, очнувшись, она подумала, что хорошо бы так вот остаться навсегда — отдалённой от мира, но слышащей и чувствующей его сквозь занавес небытия. Смерти она не боялась, потому что в жизни грешила мало, по мелочам, и ещё была крепка и не утратила желания жить.

Бабы разговаривали о бывшем председателе колхоза Максиме Волынкине и его смерти, непонятной и страшной. Баба Маня его знала, на одной улице выросли, жизнь прошли бок о бок. Максим председательствовал после войны лет десять, потом пришли другие, пограмотнее, поразговорчивее. Волынкин руководил просто: с утра брал в руку берёзовый дрючок и по дороге в правление стучал по ставням. За ним, помешкав, и народ тянулся. Бывало, кое-кого и в поле палкой охаживал. И прозвище ему дали — Максим Палкин.

В пятьдесят четвёртом его сняли, уже после смерти Сталина, поставили председателем сельсовета. Тоже власть, да не та. И запил Максим. Куролесить начал. То баб в очереди за керосином по росту построит и начнёт командовать, то своему псу похороны под оркестр устроит, словом, чудил.

Эти феодальные замашки не привлекали внимания районных властей до поры до времени, ибо в кабинетах Волынкин исправно шёлкал каблуками и не тянул с налогами и поставками. Сорвался он на другом. Церковь в селе была закрыта, но кое-какой несознательный актив имелся — красноармейки-вдовы, старухи. А верховодил ими конюх Власов, мужик башковитый и заковыристый. У него в доме была и организована «преступная акция», как называли её на бюро райкома, а про-

ще — грандиозная пьянка, во главе которой под божицей сидел Максим Волынкин.

Несознательный актив расстарался: на столе было столько выпивки и закуски, что при виде этого богатства у председателя по-волчьи вспыхнули глаза. Налили по первой, по второй и начали взахлёб возвеличивать Максима. Особенно напирала на то, что он есть окончательная и последняя власть. Максим пил водку стаканами и одобрительно щерился, показывая жёлтые прокуренные зубы. Когда Максим накачался и начал икать, Власов медленно и с издёвкой начал:

— Власть-то власть, а супротив районных гавриков пустое, хоть и «говорящее» место...

У Волынкина налились кровью глаза, он рванул воротник своего кителя-сталинки и прохрипел:

— Да я!.. Они!.. Тараканы!.. У меня печать!..

— Успокойся, батюшка! — подбежала к Волынкину хозяйка и подала полный стакан водки на блюдечке.

Максим хряпнул поднесённый стакан водки, икнул и упал лицом в тарелку с грибами.

Остальное было делом техники. Подписи жителей под заявлением с просьбой открыть церковь были собраны. Власов достал бумагу, потом положил Волынкина на лавку, вынул из чернильного мешочка, привязанного к ошкуру галифе, сельсоветскую печать, дыхнул на неё перегаром и шлёпнул на заявление.

Во дворе уже наготове стояла лошадь под седлом. Витюшка, сын Власова, через полчаса добежал до станции и отправил письмо куда надо, пока местные власти не очухались и не перехватили депешу.

Две недели всей деревней Волынкина поили. Только очухается, протрёт глаза, его за стол — и до поросячьего визгу. Погрузят на телегу — и в следующий дом.

Наконец нагрязнули кому следует. Волынкина с должности вышибли, ходили по дворам, уговаривали назад бумагу затребовать, но старухи и бабы твёрдо стояли на своём. Так и пришлось открывать церковь. Приехал отец Герасим, и храм с той поры не пустовал.

Волынкин после такого конфуза пьянку прикрутил, да что толку. Должностей с печатями ему больше не давали, приткнулся в ту

же конюховку, где работал Власов, и спорил до хрипоты с ним, что Бога нет и быть не может. Раз даже в церкви во время обедни хотел диспут устроить, да старухи намяли ему бока и вытолкали взащей.

В последние годы жизни Волынкин уже никуда не ходил, сидел дома, а в тёплые дни — на завалянке, всё в том же защитного цвета суконом кителе, в белых бурках, опершись на берёзовую суковатую палку. Никто с ним рядом не присаживался, не разговаривал, даже соседи обходили его стороной, отворачиваясь от тяжёлого, пристального, налитого старческой слезой взгляда.

Недели полторы назад по селу прошелестел слух, что старик Волынкин закрылся в бане. Приехали из города сыновья, внуки, но старик баню не открыл. Забил изнутри дверь и окошко, лёг на полок и умер. Как он там умирал, никто не знает, но говорили разное. Сыновья изрубили дверь в щепки, вынесли отца и положили в гроб. И теперь он стоял в горнице, а люди говорили о Волынкине уже в прошедшем времени, стоя возле магазина в очереди.

Наконец пришла продавщица, сняла замок, откинула тяжёлую полосу железа с дверей. Баба Маня дождалась своей очереди, набила заплечный мешок жёсткими кирпичами хлеба, взяла килограмм маргарина и пошла домой. Твёрдые углы буханок больно давили старушечью спину, но она терпеливо тащила мешок, цепко ощупывая взглядом дорогу под ногами. Издали её можно было принять за горбатенькую побирешку, но в деревне никто не удивлялся этому, здесь все старухи ходили с заплечными мешками, и в них постоянно хоть что-то, да было. Не заходя в избу, баба Маня положила мешок на лавку в сенях, достала одну буханку хлеба, замочила её в воде, накрошила в таз и дала курам. Другой живности баба Маня не держала, силы стали не те, что раньше, колхозная работа выпила, иссушила её, в чем только душа держалась. Ела мало, молочка выпьет, хлебушка со сладкой водичкой пожует — и ладно.

Налив курам воды, баба Маня вышла за калитку к поджидавшей её Семёнихе, тоже одинокой и богомольной старухе.

Они уже виделись возле магазина и, не сгова-

риваясь, пошли к дому Волынкина. Там стояла машина с оградкой в кузове и толпились люди.

— Надоть, какую смерть принял! — вздохнула Семёниха. — Калякают, будто пять суток на полке мёртвым лежал.

Баба Маня промолчала, ей не хотелось говорить об умершем. Как бы человек ни умер — он умер, и таинство смерти всегда ошеломляло, открывая неизвестный и бездонный мир. Старухи были счастливы тем, что у них был Бог. Исчезни он, и они сразу бы оказались на краю обрыва жизни без защиты и сожаления. И Бог для них был чем-то вроде забора, которым они отгородились от страха смерти.

Кончина исказила лицо бывшего председателя до неузнаваемости: нос заострился, кожа стала жёлтой, скрещенные на груди пальцы рук были тонки и прозрачны, вставные челюсти вынули изо рта, щёки провалились и подбородок задрался вверх. Всё это баба Маня охватила одним взглядом, проходя мимо гроба.

Она вышла во двор и подошла к старухам. Те шепотком обсуждали Волынкина. Им было что вспомнить, но говорили только о хорошем.

— За веру пострадал, — говорила высокая чёрная старуха, держа в руках венки с неживыми цветами. — С председателей его из-за этого сняли. Большим бы мог человеком быть...

Старухи сочувственно молчали.

Похороны были недолгими, поминки трезвыми. Максима Волынкина проводили только близкие и деревенские богомолки.

## 2

У калитки бабу Маню остановила соседка и отдала ей пяток яиц.

— Под крыльцом нашла, — сказала она. — Твоя чёрненькая курица навадилась класть. А то я гляжу, что это наш Бобик цепь рвёт, кидается. Вышла, а она шмыг — к тебе.

— Спасибо, спасибо, — пробормотала старуха и попросила: — Ты своего Витюшку подошли, мы её поймем. Мне к Митьке завтра ехать, ему и отвезу эту шалопутную в гостинец.

Войдя в дом, баба Маня первым делом проверила, не ушло ли тесто, которое она с утра замесила в кадушке. Тесто уже подходило, и она, набрав щепочек, стала растапливать русскую

печь. Огонь взялся сразу, широко и жарко, чуть запахло дымком от сухой смолы. Из своего потайного места выбрался кот и начал выделывать вокруг её ног восьмёрки.

— Погоди, — сказала баба Маня. — Вот уж Витюшка придёт. Потроха никто у тебя не отнимет...

Витюшка пришёл не скоро, уже дрова прогорели, и в печи жарко золотились и вспыхивали угли.

Баба Маня крошками хлеба подманила кур, Витюшка быстро сцапал чёрную, кричащую бляв мотом курицу и на колоде для рубки дров топором отчекрыжил ей голову.

— Ну, я пошёл!..

— Иди, Бог с тобой!..

— А ты чо, к Митьке собралась?..

Витюшка был одногодок внука. Вместе с Митькой, бывало, гуляли, но ум не пропивал.

— Передавай привет!..

Сосед ушёл, а старуха занялась курицей и пирогами. Работа делалась, но как-то скучно. Баба Маня тыкалась из угла в угол, забывала, где что лежит, и управилась только к полуночи.

На столе горкой лежали пироги с капустой и картошкой. Она взяла один, съела и не почувствовала вкуса. Видно, откушала своё. Лежат пироги, а едоков нет. Раньше-то вмиг бы ушли, успевай только из печи вытаскивать.

Баба Маня вспомнила покойного мужа, вздохнула и перекрестилась. Худого от него она никогда не видела. В войну ей завидовали бабы, он был ранен в финскую, и на фронт его не взяли. Но кто знает, где повстречаешь смерть. У каждого к ней своя тропка. Нашлась своя и у Егора.

В лунные ночи старуху мучила бессонница. Хотя в избе было натоплено и она лежала на кровати под ватным одеялом, всё равно ей было зябко. Холод шёл изнутри отжившего своего тела, и даже кот, прежде любивший спать у хозяйки под боком, теперь не лез под одеяло, а устроился на печке.

Луна светила ярко и печально. Баба Маня ворочалась на скрипучей кровати и думала о том, как мгновенно пролетела жизнь. Ведь будто вчера это было: ей годиков пять-шесть, она смотрит, свесившись головой с печки, как мать, подоив корову, сцеживает молоко. В хате

темно, в углу сипит свечной огарок, и мать, заметив проснувшуюся Маньку, вздыхает:

— О, господи!.. И чего не спится раноставке...

Этот кусочек воспоминания, как осколок разбитого зеркала, вспыхивал в памяти бабы Мани, отсвечивая другие. Она помнила клички коров и лошадей, которые были у них в семье, помнила аэроплан, севший в деревне на лугу по случаю агитации на какой-то займ. Помнила отца, но как-то странно, без лица, только руки, подбрасывавшие её вверх, и тяжёлый звериный запах от полушубка. Зимой отец ставил петли на колонков и горностаев. Приходил из лесу, и Маняшка сразу кидалась к нему за гостинцем от лешего. Отец растёгивал полушубок, на пол сыпались звериные тушки, которые он хранил за пазухой, чтобы не замёрзли, доставал недоеденную горбушку хлеба и отдавал дочери. Маняшка подпрыгивала от радости и уплетала пропахший потом и звериным духом хлеб за обе щеки.

Отец пропал из-за своей доброты и отзывчивости в первое колхозное время. На первых порах организовали в деревне три колхоза. Поделили землю и начали, как это водится, пакостить друг другу. То чужие коровы на посевах забредут, то хряк прибьётся к чужому стаду и пропадёт. Озлобились председатели друг на друга, войну объявили. Но, как говорится, паны дерутся, а у холопов чубы трещат. В тот злополучный день отец на берегу старицы смолил лодку. К этому месту как раз и причалили два охотника, которые по приказу своего председателя перестреляли чужих свиней на овсах. Берег топкий, глинистый и крутой. Взялись мужики свиней из лодки таскать и не могут, утопли в глинистой жиже. Тут-то отец и вывернулся со своей подмогой.

— Подождите, ребята! — крикнул он мужикам. — Я вам сейчас настил сделаю...

И сделал. Принёс три фугованные доски, верёвки, и выволокли свиней на бугор.

Взяли его за покушение на колхозную собственность в составе банды. Председателя, как организатора, расстреляли. Охотникам и отцу дали по десять лет, и ушёл он навсегда. Ни письма, ни извещения о смерти. Правда, был слух, что в лагере помер, а к властям баба Маня не обращалась.

Старуха пошевелилась на кровати и открыла глаза. Она не отдавала себе отчёта, почему последний год во сне ли, наяву жизнь перелистывает перед ней одни и те же страницы. Ей почему-то никогда не вспоминалась поездка в Москву на ВДНХ, которой её наградили за рекордные удои, а лезли в голову какие-то несерьёзные вещи вроде вечёрок и гаданий под Рождество.

Морозы в тридцать девятом году ударили рано, и возле деревни на старице зимовали пароход с баржей. Кто постарше из команды, уехали в город к семьям, осталась молодёжь, отбойные ребята в клёшах и бушлатах. После двух-трёх драк они перемирились с местными и стали ходить на вечёрки в клуб. В деревне их называли пароходскими.

Весёлая была зима. Когда танцев не было, собирались вечеровать то у одних, то у других. На такие вечёрки девки ходили с прялками. Собирались чаще у хромоногой Матрёны, сорокалетней бабы, которая гнала втихаря брагу и принимала на постой всяких уполномоченных из района. Старались побыстрее шерсть испрясть и заводили игры и песни. В разгар веселья начинали перебрасываться частушками.

*У Матанюшки беда:  
С пароходским зналася,  
Пришла полая вода —  
С животом осталася...*

Семёниха тогда была азартной плясуньей и певуньей. И вырядиться любила, чтоб на зависть всем. Она и ввела всех девок в конфуз.

Последними пароходами в деревню завезли партию промтоваров и среди прочего странные и невиданные в этих краях изделия из шёлка на узеньких тесёмках. Если надеть, то получалось, что плечи и руки наголе, совсем как в иностранных фильмах. Первой купила платье Семёниха, пришла на вечёрки, за ней и другие побежали в сельмаг. Скоро все девчата щеголяли в шёлковых комбинациях, подхваченных в талии цветными лентами.

Обнаружила скандальную несуразность учительница. Она собрала девчат в клуб, объяснила им, для чего эта вещь и как её надо носить. Кто-то из подростков подслушал воспитатель-

ную беседу и разнёс по деревне. То-то хохоту было. А девчатам пришлось снова надевать свои домотканые платя.

Баба Маня в девушках была тихой, в круг на вечерках никогда первой не высывалась, ей и ходить на посиделки не хотелось, но Семёниха — страшно вспомнить, столько лет прошло! — тянула её за собой. И она, завернув шерсть в платок и подхватив прялку и веретено, шла к Матрёне, садилась в угол и, краснея, слушала озорные припевки и шутки.

В избе то и дело бухала дверь. Целоваться выжидали в сени. Там в покосившихся и щелястых сенях назначались свидания и происходили свадебные сговоры. Влетали в избу раскрасневшиеся, а в избе — дым коромыслом от самокруток, визг девчат, стукоток подмётков, забивающий звуки хриплой гармонии.

На Рождество девчата гаданье устроили. Убежали от парней во двор к Семёнихе. Та нырнула в хлев и вывела оттуда упирающегося старого мерина. Завязали коню глаза, распахнули ворота и стали по очереди на него с табуретки садиться. Кому замуж выходить в новом году, того лошадь должна была без понуканий вывезти за ворота. Но мерин был битой скотиной и знал, что без тычка спешить некуда, стоял, упершись копытами в снег, и тяжело, будто наработавшийся мужик, дышал, не замечая, как на его спине егоятся девки.

С хохотом мерина загнали в хлев и решили бросать через ворота обувку с левой ноги, чтобы узнать, в какой стороне суженый живёт.

— С нецелованной начнём!..

И первой к воротам подтолкнули Маню. Та поупиралась, сняла валенок, встала босой ногой на полено и бросила чёсанок через ворота.

За забором раздался жеребьячий гогот. Парни выследили девок и застучали за гаданьем.

— Давай следующая! Чичас поймаю....

— А Егору-то чёсанок по лбу!..

— А вдруг с хромой ноги Матрёны...

Прокаленный морозом снег жёг ступню.

— Эй! — закричали девчата. — Отдайте валенок, обморозится Манька!

Валенок мягко шлёпнулся посреди двора. Гармонист завёл «Подгорную».

Девки вышли со двора и всей гурьбой пошли к Матрёне. Маня шла, спрятавшись среди рос-

лых девчат, пунцовая от смущения. А парни выглядывали её среди других и подначивали Егора.

— На масличную свадьбу гулять будем!

Так и вышло. Солнце стало пригревать, сугробы с южной стороны начали покрываться маслянисто блестящей коркой подталого снега, когда они с Егором расписались в сельсовете. Родня помогла, и свадьба была не сиротской, с тройкой, с лентами, по-старинному. Егор в бушлате и клёшах, она, чуть оторопелая от гостевого шума и гама, так и остались на фотографии заезжего фотографа.

Лёд сошёл, парход отвалил от берега, оставляя на глинистом откосе не одну рыдающую деваху, а Егор прочно обосновался в доме и поступил работать на лесопилку механиком. По тем временам это была видная должность, с твёрдым окладом и прочими «номенклатурными» возможностями.

Она на сносях была, когда Егора взяли на финскую. Вернулся он на костылях с простреленной пяткой. Рана была вроде пустяковой, но долго гнила и не заживала пяточная кость, и на Отечественную его не взяли.

В сорок втором совсем голодно стало. У баб, мобилизованных на лесоповал, пилы из рук выпадали, а лоси ходят вокруг, да подстрелить некому. Привезли на делянку Егора. Обосновался он в шалашике и, подкараулив, завалил матёрую лосиху-корову. Потом ещё одну. Тем мясом и спаслись тогда бабы на лесной работе.

Вспоминая мужа, баба Маня никогда не думала о том, что он умер. Ей всегда казалось, что он находится в дальнем бессрочном отъезде и они непременно когда-нибудь встретятся. За жизнь она не цеплялась, но и не торопила смерть. Ей хотелось, чтобы все свершилось своим раз и навсегда заведенным порядком, ведь уходить из жизни она собралась не в какую-то ледяную неприютность, а в живую, освященную добротой и вечностью потусторонность. Это все представлялось ей как переход через невидимую завесу, которая в свой срок раскроется и вберет ее в себя, как сухая земля вбирает упавшую с неба первую каплю дождя.

## 3

Утро было мглистым, сырые пласты тумана лежали на земле, с почерневших от обильной росы крыш сочилась влага, а деревня уже жила своей заведённой испокон веков жизнью. Во дворах позвякивали подошники, взмыкивали коровы, блеяли овцы, а на конце уличного порядка, давая о себе знать, щёлкал бичом деревенский пастух.

До станции было километров шесть, и баба Маня, стараясь не ступать на скользкую от росы траву, спешила на сверток, чтобы не опоздать к молококанке, которая по утрам возила молоко на станцию.

Ради поездки она оделась по-праздничному, будто в церковь. Надела чёрную шерстяную, кое-где побитую молю юбку, кофту, плюшевую жакетку, а на голову повязала тёплый платок.

На свертке возле бидонов и мешков стояли бабы и старухи, постоянно ездившие торговать на станцию. Баба Маня поздоровалась с ними и стала чуть в сторонке, чтобы избежать ненужных расспросов. Заплечный мешок она не сняла, а прислонилась к старой придорожной берёзе, чтобы было легче стоять.

Лязгая разбитым железным нутром, подошла молококанка. Бабы, не спрашивая разрешения, стали забрасывать в неё мешки, ставить бидоны, потом дружно полезли в кузов со всех сторон.

Рыжий вислоносый шофёр с улыбкой смотрел на эту суматоху и покрикивал:

— Быстрее! Быстрее! А то молоко скиснет!..

Баба Маня поставила ногу на скат, дотянулась до шершавого края борта, уцепилась за него, но подтянуться не смогла, мешал враз отяжелевший заплечный мешок.

— А ты куда вырядилась? — удивленно спросил шофёр, узнав бабу Маню. — На свадьбу собралась или на богомолье?

— К Митьке... Ты бы помог забраться, а то сил никаких нет.

— Куда тебя в кузов такую нарядную! Садись в кабину, если мужиков не боишься...

— Да я уж давно отбоюлась, — обрадовалась баба Маня и засеменила к кабине.

Мотор взревел, машина дёрнулась, в кузове

зазвенели молочные бидоны, и на обочинах замелькали тёмные ели и берёзы с голыми сиротскими вершинами. Спустившись со взгорка, дорога пошла по стлани, через болото, по бревенчатому настилу. Машину трясло, словно она ехала по стиральной доске, и баба Маня, вцепившись в поручень, едва держалась на сиденье.

— Во, дорога! — крикнул шофёр. — Хорошо хоть пять вёрст, а то бы не молоко привозил на станцию, а чистую сметану. Ты держись! В третьем годе вёз одного я приезжего с портфелем. Его как кинуло на ухабе, что голову не удержал и шею сломал. Я перепугался, думал, обвинят меня, мол, гнал машину. Оказалось, инспектор народного контроля по области. Ну, ему гипсовый воротник — и домой. А мне пуховку дали бесплатную в Болгарию.

Старуха почти не слышала шофёра. Она хотела, чтобы скорее кончилась болтанка. Ей было плохо, в груди часто стучало изношенное сердце, к горлу подкатывал неприятный комок. Не часто приходилось ездить ей на машине, да ещё по такой дороге. В городе за свою жизнь была всего два раза. Но тогда их, передовиков, гуртом возили, а теперь нужно было во всём разобраться самой, и её беспокоило, как она сядет в поезд и доберётся до места.

Стлань кончилась, дорога пошла на сухой песчаный бугор, за ёлками мелькнула труба маслозавода, и через несколько минут они были у вокзальчика — большой, срубленной из круглого леса избы. Баба Маня достала потёртый кошелёк, но шофёр от неё отмахнулся.

— У меня постоянная клиентура, — кивнул он на прыгивавших из кузова баб. — По очереди каждую субботу пузырь ставят. Мы с соседом после баньки его шархнем, и весь расчёт.

В низеньком зале, где пахло дымом и потом, баба Маня высмотрела окошко кассы, взяла билет на проходящий поезд и села на жёсткую скамью. Народа было мало, но постепенно зал наполнялся людьми, и от многолюдья старухе вдруг стало неуютно, потому что никого вокруг она не знала, это были чужие лица, даже говорили они по-другому, не так, как говорят в их деревне.

На неё как будто сквозняком пахнуло опасностью, и баба Маня крепко сжала в руке кошелёк с деньгами.

— Шей! Шей хочу!.. — раздался визгливый женский голос, и толпа качнулась, расступаясь перед высокой костлявой старухой в грязном ватнике и калошах, привязанных к ступням бельевой верёвкой.

Баба Маня сразу узнала блаженную Грушу, которая не раз бывала у них в деревне, собирала милостыню возле церкви, потом исчезла.

— Шей хочу!..

Все отводили глаза от бессмысленного взгляда побирушки, в котором светилась неуютная пустота, и поворачивались к ней спинами.

— Иди сюда, Груша! — позвала баба Маня и начала развязывать мешок с гостинцами. — Шей нет, не обессудь. Ты вот пирога испробуй.

Блаженная схватила пирог мохлявой грязной пятернёй, и он сразу провалился в её беззубом рту. Люди, поняв, что Грушу можно не бояться, стали поглядывать на неё и шушукаться. Она сразу почувствовала возросшее к ней внимание и вытянулась во весь рост. Что-то раздражало Грушу в окружающих её людях, она напряглась и двинулась к скамье, где сидела молодая, модно одетая женщина и читала книгу.

Та, несомненно, чувствовала приближение Груши, сопровождаемое передвижкой узлов и чемоданов, но глаз не поднимала, вцепившись в книгу побелевшими от волнения пальцами. Груша встала перед ней, несколько раз стукнула суховатой палкой в цементный пол, повернулась и пошла к выходу.

— Высоко бес поднимет и бросит! — кричала блаженная. — Высоко бес поднимет и бросит!..

Люди, освобождённые от присутствия старухи, враз заговорили, выражая своё отношение к случившемуся. Молодая женщина тёрла платочком покрасневший носик и беспомощно озиралась по сторонам.

— Уела-таки! — сказал сидевший рядом с бабой Маней пожилой мужчина. — В прошлом году она председателя райисполкома перепугала. Вошла к нему в кабинет и давай бесами грозить...

— А давно ли на неё находит? — поинтересовались любопытные, чувствуя, что мужчина знает Грушу.

— Дети у неё сгорели. После войны это случилось. Вот и сошла с круга. Зимой в милицию идёт ночевать, летом — где придётся.

— А что её не заберут в дом престарелых или в психушку?..

— Она безвредная. Да и документов у неё нет. А без документов куда пойдёшь?..

Приближение поезда почувствовалось сразу по внезапно вспыхнувшей суматохе. Вместе со всеми баба Маня вышла на перрон и встала к железному столбу, чтобы меньше толкали.

В вагон она вошла после всех и присела на первое попавшееся свободное место. Вагон был общий, задымленный, пропахший кислятиной человеческого пота, на мутных стёклах висели скомканные грязные занавески. В её отсеке сидели мужики и пили пиво.

Старуха мельком глянула на них и уставилась в окно. Поезд дёрнулся, мимо поплыл вокзал, деревенские бабы со своим нехитрым товаром, тепловоз хрипнул и начал быстро набирать скорость. И только сейчас, глядя в мутное окно на мелькавшие деревья, столбы, летевшую вспять землю, баба Маня поняла, что она действительно едет и через несколько часов встретится с Митькой. Они не виделись полгода, и баба Маня часто вспоминала его, но не здорового, зачастую пьяного оболтуса, а маленького, с чертами покойного мужа, мальчишку, который любил сидеть у неё на коленях, задавал смешные детские вопросы, плакал из-за двойки в тетрадке. Этого давнего, уже ушедшего из действительности Митьку она любила до сих пор, для неё он как бы не вырос, не повзрослел с того времени, когда они остались вдвоём, вместе спали на одной кровати. В Митьке она видела не внука, он был для неё сыном, непутевой, но родной плотью.

Бывало, она строила планы, что вырастет Митька, обзаведётся семьёй и в доме станет веселей и уютней. Не вышло. Отгорело всё это, отболело. Митька не на девок заглядывался, а на бутылки. Пожил, правда, с одной разведёнкой, так та пьянь похлеще Митьки оказалась. Пришла к бабе Мане в дом и украла туфли, которые старуха себе на смерть приготовила. Митька, правда, дал любовнице по шее и бросил её, но туфли пропали, а баба Маня не один десяток яиц в закупку унесла, пока сбила деньги на другую обувь.

Сейчас ей уже не хотелось большой семьи. Ей хотелось одного — чтобы её оставили в покое,



чтобы она могла дожить остаток дней с таким же облегчением, которое чувствует хлебороб, дожиная своё поле. Но кто об этом знал? Кто об этом догадывался, кроме неё самой?..

Она и раньше, когда была молодой, не отличалась общительностью, а с годами стремление отойти от людей, стать более незаметной проявлялось всё сильнее. Ей всегда казалось, что люди излучают опасность, что от них следует ожидать подвоха, и потому с испуганной настороженностью глянула на молодого парня, который, допив своё пиво, видимо от скуки, спросил её:

— Куда наладилась, бабуля?..

Баба Маня сделала вид, что не слышит, и отвернулась к окну.

— Бабуля! Куда едешь?.. — повторил парень,

— Да отвали ты от неё, Серёга! Чего старуху пугаешь...

Парни ехали с шабашки, говорили о коровнике, о каком-то Тюрине, который им не уплатил обещанные пятьсот рублей.

— У них всегда так. Как работать — давай, давай! А как расчёт — то денег в банке нет, то касир заболел...

— Да хрен с ним, с Тюриным! Месячишко отдохнём — и опять возьмём шабашку...

— Только без меня. Я зимой не шабашу...

— Ну, тебе-то!.. Опять мотыля поедешь мыть?..

— А чо? Килограмм мотыля — два денег...

— Возьми меня...

— У нас своя артель, всё притерто...

— А ты, Серёга, так и решил машину брать?..

— Возьму...

— А по мне, так лучше выиграть. Куплю лотереек на сто пятьдесят рублей, и вперёд Серёги на машине буду ездить...

— Конечно, ты счастливый. Гошка топор уронил на тебя с крыши, а не попал по кумполу...

— Слушай, инженер! Ты лучше расскажи про корзинку. Мужики не слышали...

— Да, случай был. Счастливый. Я тогда начальником цеха на заводе, на «Приборке», работал. Прихожу после работы домой, жена меня встречает с улыбкой, шнурки на ботинках развязывает. В квартире вкислятиной разной пахнет. Молодец, говорит жена, наконец-то ты за ум взялся, а то всё сверхурочные, дежур-

ства, конференции. Я ничего не понимаю, только вижу — в прихожей корзина стоит, большая такая, вёдер на семь-восемь. Это, спрашиваю, откуда? Как, удивляется моя, откуда? Зашёл человек, поздоровался, поставил корзину и ушёл. Я — к корзине. А там — коньяк, чешское пиво, буженина, мандарины, шоколад, кофе и прочее, прочее.

Это разве не твоё, спрашивает жена. Но я-то понял, в чём дело. Моё, говорю твёрдо, разгрузай, а корзину на балкон. Месяц жили по высшему разряду. Утром — икорка, кофе. Вечером коньячок пригубишь...

— И чья же корзина была?

— Это через год открылось. Наверху у меня жил один начальник, ну, неважно какой. А корзину ему из района привезли. Шофёр двери спутал и ко мне её затащил...

Мужики захохотали.

Баба Маня слышала разговор и поняла только одно, что эти мужики — народ хотя и городской, но безвредный. У них в деревне тоже постоянно обитали строители. Клуб достроили, магазин, про них говорили, что большие тысячи загребают, а своим заработать не дают. И эти, видать, из таких же, только уж очень шумные. А она никогда не любила шума и не понимала, как могут люди кричать, когда на это нет никаких причин. Озорство, хотя уж и не маленькие.

Пришла проводница, сгребла пустые бутылки из-под пива, мужики пошли курить в тамбур. У бабы Мани засосало под ложечкой, она достала из кармана плюшевки ржаной сухарик и положила в рот. Сухарик таял на языке, старуха глотала горьковато-сладкую слюну, и неприятная тяжесть в желудке растворилась.

«Господи, — вздыхала старуха. — Думала ли, что придётся в казённый дом ехать, элтэпэ<sup>1</sup> проклятое!.. Дожить бы уж как-нибудь. Кто приберёт только... Сирота я...»

Баба Маня уголком платка вытерла наслезенные глаза. Она не любила и избегала жалеть себя, но иногда это чувство просыпалось в ней и точило душу. Чтобы как-то облегчить её, старуха закрыла глаза и зашептала молитву.

<sup>1</sup> ЛТП — лечебно-трудовой профилакторий.

## 4

К вахте лечебно-трудового профилактория баба Маня попала под вечер. Десяток осыпавшихся тополей, асфальтированная дорога, одноэтажное кирпичное строение вахты, железные ворота, кирпичные стены с колючей проволокой по верху, разбегавшиеся в обе стороны, — всё это выглядело строго и неуютно. Баба Маня взошла на невысокое крылечко и потянула за ручку двери. Вахта была заперта, а в мутный глазок ничего не было видно. Кнопку звонка старуха не разглядела, а стучать в дверь поопасалась и села на кирпичную ступеньку.

Минут через пятнадцать дверь с лязгом отворилась, и мимо бабы Мани, клацая стальными подковками сапог, прошёл военный.

— Милок! — вскинулась вслед военному баба Маня. — Как тут войти?..

— А вы кнопку звонка нажмите, вам и откроют, — бросил через плечо военный и пошёл дальше.

Баба Маня нашла кнопку, нажала на неё и, сжав от волнения губы, уставилась в глазок. За ним что-то мелькнуло, лязгнул запор, и на пороге появился прапорщик.

Он недовольно поглядел на старуху и сразу всё понял.

— Ты что, мать, не вовремя приехала? Свидания только по воскресеньям у нас.

— Так я письмо от Митьки получила, срочное, — заторопилась баба Маня. — Дом на соседней оставила — и сюда...

— Какое — срочное? — пробурчал прапорщик и взял скомканный конверт. — Таких срочных они на дню по десять раз пишут, — хохотнул он. — Вот от начальника — тогда срочное. А что у тебя в мешке?

— Пирогов напекла, курочка...

— А самогонку не привезла?..

— Что ты, оборони господь! В жизни этим не занималась...

— Не занималась, а Митька здесь! Тут таких Митек с тыщу будет. Где я тебе твоего Митьку достану? Может, он на работе...

Баба Маня просительно смотрела на начальника, и он смягчился. Пошёл звонить по телефону, искать внука в толпе своих «клиентов», а

бабу Маню завёл к себе и усадил на кушетку, обитую клеёнкой.

В окне она увидела большую заасфальтированную площадку, двухэтажное здание, у которого курили одетые в чёрные хлопчатобумажные костюмы люди, а дальше стену, за которой синело просторное осеннее небо.

Пришёл прапорщик с бумажкой в руке.

— На работе твой Митька, мамаша. На кирпичном заводе. Это недалеко, с полкилометра будет. Вот я на бумажке написал, как его найти. Деньги у тебя есть?..

— Есть, — неуверенно сказала баба Маня.

— Ну-ка, покажи...

Прапорщик взял потёртый гомоник, пересчитал деньги. — Шесть с полтиной... Билет сколько стоит?

— Рублей пять...

— Запомни, мать. Денег ему не давай ни копейки, если даже ещё есть, я всю ночь буду дежурить — приду проверю. Если он после тебя хмельной будет, сидеть ему тут до звонка. Поняла?..

Старуха клятвенно обещала не портить внука. Прапорщик вывел её на крыльцо и показал дорогу на завод.

День потускнел, тяжёлая, похожая на скалу туча, набитая первым снегом, заслонила западную сторону неба и надвигалась на посёлок. Сразу стало холодно, острый пронизывающий ветер гнал по дороге пыль, обрывки бумаги и шумел в зарослях спелой полыни на обочинах.

Проходная на заводе была пуста, ворота открыты, их перегораживала ржавая железная труба. Баба Маня огляделась по сторонам, пролезла под трубой и подошла к приземистому кирпичному строению, возле которого на стопке кирпича сидел и курил мужик, одетый в брезентовое рваньё и коротко, по шиколотку, обрезанные валенки.

Мужик посмотрел на бумажку, написанную прапорщиком, и сказал:

— Это из другого отряда. Ищи с той стороны, вторая печь там. Иди по цеху и как раз упрёшься...

В цеху было пыльно и холодно. Баба Маня брела по бордюру, сторожко оглядываясь по сторонам. Вдруг откуда-то из темноты что-то завизжало, засвистело. Она отпрянула к стене, а

мимо неё с воем промчалось какое-то сооружение, высекая из проводов, протянутых наверху, трескучие искры. Сооружение, скрежеща тормозами, остановилось, с него соскочил чумазый человек, рванул на себя вагонетку с кирпичами и скрылся в ходке обжигальной печи.

«Господи! — со страхом подумала баба Маня. — Перепугал до смерти!..»

Бетонный бордюр кончился. Она перелезла через неглубокую траншею, на дне которой лежали рельсы, и оказалась на площадке, где какая-то баба складывала в кучу деревянные полки.

— Мне бы на вторую печь?.. — спросила она.

— Иди дальше, через сушилку, формовку. Не успеет рассветать, как придёшь...

— Чой так далеко?..

— Кому как, — засмеялась баба. — А ты кого ищешь?..

— Внук у меня тут...

— Элтэпэшник, — догадалась баба. — Ты погоди, вон лафет идёт, я тебя до формовки доведу.

Подошёл лафет, баба закатила на площадку вагонетку с полками, поставила старуху рядом с лафетчицей, сама встала на край рамы. Лафетчица крутанула баранку, и, набирая скорость, они поехали в мутную от пыли сушилку. Двери многих камер были открыты, из них тянуло жарким угаром и дымом.

«Каторга! Чисто каторга!» — с ужасом подумала старуха, которая до этого ни разу не была на кирпичном заводе.

Она с опаской посмотрела на едущих с ней женщин. Неужели и они осуждены здесь работать, как её Митька?..

Проезд между сушильными камерами расширился, и они попали на сравнительно светлое и просторное место, где было много людей, работавших вокруг двух прессов. В основном это были тоже женщины.

Из горловины пресса тёк окутанный паром глиняный брус, от которого отсекались кирпичи и ложились на деревянные полки. Затем механические руки подхватывали эти полки, передвигали и поднимали в высоту. Единственный возле пресса мужик снимал эти полки на высокую рогатую вагонетку и закатывал её на лафет, который наклонялся и проседал под тяжестью сырых кирпичей.

В формовочном цеху было шумно, часто молотил пресс, потолок подрагивал и гудел от работы каких-то машин, которые были установлены наверху, и баба Маня, сойдя с электролафета, не знала, в какую сторону идти. От езды, шума и гари у неё кружилась голова, хотелось поскорее выбраться в какое-нибудь тихое и безопасное место.

— погоди! — крикнула ей в ухо укладчица полка. — Сейчас поедем!

Она столкнула вагонетку с полками, подкатила к прессу, попила воды, выдернув откуда-то резиновый шланг. Бабе Мане тоже хотелось пить, но она сдержалась и присела на шаткую скамейку возле подъёмника. Но сидеть ей не пришлось: подошёл электролафет. Путаясь в полах юбки, она втиснулась в железную клетку рядом с какой-то девчонкой. Укладчица полка закатила пустую вагонетку, и с визгом и воем, рассыпая по сторонам трескучие искры, они помчались вдоль сушильных камер.

Очутились они опять в пустом и сравнительно тихом помещении, где лежали груды полка.

— Иди теперь вокруг печи, — сказала укладчица. — С той и с другой стороны выгружают кирпич. Где-нибудь найдёшь...

— Спасибо, спасибо, — поблагодарила её баба Маня и пошла вдоль печи.

Она уже не шарахалась от электролафетов, которые возили высушенный кирпич в печь. Из открытых дверей на неё потянуло холодом. Она выглянула на улицу и увидела, что небо плотно, без единого просвета заволкло тучами, накрапывал мелкий дождичек и быстро темнело.

«Снег будет, — с огорчением подумала баба Маня, — а я, чисто девка, в туфли вырядилась. Нет бы хоть резиновые сапоги надеть!»

У открытого ходка она остановилась, перешла рельсы по железному мостику и заглянула в печь. Три девки в драных платьях ловко хватили кирпичи с низкой вагонетки и ставили их клетками и ёлочками до самого свода печи.

— Девчата! — обратилась к ним баба Маня. — А где тут Митька?..

Девки посмотрели на старуху с мешком за плечами, прыснули, а одна, побойчее, спросила;

— А ты ему кто будешь?..

— Внук он мне...

— Слава богу, хоть не свекровка, — как-то непонятно для бабы Мани сказала деваха и закричала: — Митька! К тебе бабушка приехала!..

Послышались мягкие шаги, из-за крутого поворота печи вышел Митька.

— Здорово, бабуля! — спокойно сказал он, будто они расстались сегодняшним утром.

Старуха заторопилась к внуку, заплакала.

— Внучек! Митенька! Куда они тебя, ироды, упекли! Что за провинности у ребёнка!..

Баба Маня повисла на внуковой шее, а тот отстранялся от неё, смущённый слезами и всеобщим вниманием.

— погоди, баб Мань, погоди! — повторял он, отступая к своду печи. — Измажу тебя всю, я ведь в робе...

Баба Маня, плача, отступила от внука и стала вытирать лицо уголком головного платка.

— Пойдём отсюда, — сказал Митька и потянул её за собой. — Посиди чуток, скоро молоко привезут. Я тебе сейчас местечко сооружу...

Внук положил на стопки кирпичей доску и усадил на неё бабу Маню.

— Здесь тепло и сухо. Сегодня большой жары нет. На остывании много рядков...

— Мить, ты бы покушал. Я пирожков привезла и курочку...

— Некогда сейчас. Вот ужин привезут, тогда и поем...

С Митькой на выставке кирпича работали ещё двое мужиков. Так же, как он, коротко стриженные, исхудавшие, мосластые. Нагружали на вагонетку, поставленную на небольшое возвышение, двое. Хватали горячие, присыпанные блёклым пеплом кирпичи и швыряли их не глядя на поддон. Когда он наполнялся, в ходок заходил третий, спускал тормоз, и вагонетка с воем вырывалась из печи на разгрузочную площадку. Там стоял на одной ноге высокий башенный кран, составлявший поддоны в ровные ряды.

От обожжённых кирпичей на бабу Маню веяло сухим баннным жаром, а из открытых ходков тянуло с улицы холодом. Она сидела на доске, держа на коленях мешок с гостинцами, и смотрела, как Митька, забравшись под самый свод печи, бросал оттуда кирпичи.

«Окаянная работа, — думала баба Маня. —

Лучше уж коровники чистить. Тут долго не поработаешь...»

И правда, работа была однообразной, нудной, выматывающей душу. Обычные работники на неё уже не шли, только элтэпэшники работали да люди, которым некуда было деваться. На них только и держалось кирпичное производство. Но баба Маня об этом не знала, она видела лишь одно: как мается её единственный внук.

Работа застопорилась. Мужики спрыгнули с подставленных под ноги кирпичей.

— Сколько времени до конца смены? — спросил Митька у напарника.

— Часа три с половиной...

— Да, дела!.. Если б час-другой, а то придётся нам начинать свар ломать. Как ты считаешь, Рыжий?..

— Докурим. Спешить некуда...

— погоди, бабуль! Мы сейчас придём...

Вернулись они втроём, с ломами и бутылками молока. С улицы затащили поддон, поставили на кирпичи, и получился стол.

— Ну, давай, бабуль, пироги!..

Баба Маня с неохотой развязала мешок. Ей хотелось, чтобы Митька ел один, но деваться было некуда — выложила на шершавые доски деревенские гостинцы.

— Пирогов-то! — удивлённо сказал Рыжий. — Ты как это, бабушка, дотасила их? Вроде и смотреть не на что, а смотри-ка, донесла... И с капустой, и с картошкой, и с молитвой!..

Мужики с жадностью ели пироги, запивая молоком, а старуха смотрела на них и вздыхала. Для неё, уже прожившей свою жизнь, они были страдальцами, и она дала себе слово, вернувшись домой, поставить им в храме свечу.

— Что-то рано вы сегодня шабашите...

В печь вошёл начальнического вида с явно очерченным брюшком человек в синей куртке и шляпе. Митька прожевал пирог, икнул и сказал:

— Свар, Иван Матвеевич!..

— Так, берите ломы — и вперёд!.. К победной цели... А это к кому? — он кивнул на бабу Маню.

— Ко мне, — сказал Митька. — Взяли восемь тысяч уже.

— Всего-то, — протянул мастер, доставая записную книжку. — На прогрессивку надо вытянуть.

— А на кой нам прогрессивка? — буркнул третий выставщик со свёрнутым на сторону носом. — Упираемся, как папы карлы, а к чему?.. Мне ещё год мантулить, как за растрату.

— Что ж тебе, деньги не нужны?..

— А на кой они? Всё равно утром — рыба, в обед — тухлые щи, вечером опять рыба...

— Тебе же деньги на книжку идут...

— Слушай, Иван Матвеевич, взрослый ты мужик, а как ребёнок! — сказал Рыжий. — Мы не пьём, стало быть, деньги нам ни к чему.

— Так уж не пьёте... Сегодня с формовки слесаря увезли, в лоскуты пьяный...

— Так то слесарь! — засмеялся Митька. — У него шабашки, он — «интеллигент».

— Вкатят этому «интеллигенту» интересный укольчик — враз успокоится.

Мужики заскучили, они знали, что такое высокотемпературный режим, все через него проходили и теперь боялись его пуще карцера.

— Ладно, — сказал мастер, заметив, что мужики притихли. — Берите лом и ломайте свар. И осторожней с этим делом. — Он щёлкнул себя по горлу.

— Тьфу ты! — сплюнул в горячую пыль кривоносый мужик, когда мастер ушёл. — Пьёт как насос, жрёт как удав, а туда же с советами...

— Вы ешьте, ешьте, — заторопилась баба Маня, заметив, что мужики намереваются закурить.

Она испугалась мастера и только-только пришла в себя.

— Хорошо, бабуля! — отмахнулся Митька. — Остальное в зону возьмём. Сиди, грейся...

Покурив, мужики взялись за ломы. Кривоносый залез под свод, просунул в щель между обгорелыми кирпичами лом, крикнул и обрушил на дно печи большой ком сваренной намертво глины. Кирпичи были обгоревшими, отливали синевой — вспухшие и разорванные не смиренным вовремя жаром.

Закалённое железо высекало из свары искры. Понемногу ком распадался на большие, уже неразъёмные куски. Их бросали на поддон и выкатывали тележку на площадку. Баба Маня всегда любила смотреть, как работают мужики,

строая дом или на косьбе, но эта работа не пробуждала у неё интереса. Наоборот, она беспокоилась и ждала, что вот-вот случится какое-нибудь несчастье.

Но мужики не спешили. Эта работа оплачивалась, конечно, по нарядам, и они, обрушив вниз свар, особо не напрягались, считая, что что-то должно остаться и другой смене. Правда, в ходок изредка заглядывал мастер, поторапливал, но без заводного напора, видимо, тоже понимал, что смена сорвана и большего добиться нельзя. Мастер исчез, и мужики, бросив ломы, взяли из мешка ещё по одному пирогу.

— А к завтраму опять напечёшь пирогов? — улыбаясь, спросил Рыжий.

Баба Маня беспомощно развела руками.

— Можно прямо здесь, в печи. Вон Митька жениться собирается, так если на весь отряд печь, так только здесь...

Митька чуть с кулаками на Рыжего не бросился.

— Ты, обормот ржавый! — закричал он, брызгая слюной. — Опяшу ломом, чтобы хлебрезку не раскрывал!..

Рыжий, цапнув пирог, отступил за вагонетку. Но Митька уже успокоился и, повернувшись к бабе Мане, нехотя сказал:

— Сошёлся я тут с одной. Здесь, на садке, работает. Из-за этого и насчёт дома писал.

— А что — дом, — тихо сказала старуха. — На тот свет с собой не заберу. Живите...

— Да, понимаешь, баб, у неё ребёнок. А так она хорошая.

— А что ребёнок?.. Живите...

— Клавка! — закричал Митька. — Иди сюда!..

Жена — не жена, баба Маня не знала, как её назвать, оказалась крупной, вровень с Митькой, молодой бабой. В рабочем платье оценить её было трудно, но бабе Мане понравились широкие Клавкины ступни, она любила, чтобы у человека были надёжные подпорки.

Клава, не жеманясь, взяла кусок пирога и встала рядом с Митькой.

— Может, по половинке освободят, если не сорвусь, — сказал внук. — Сколько до конца смены?..

— С час осталось, — ответила Клава.

— Ты бабулю возьми с собой переночевать. Поезд-то утром...

— Да я на вокзале перебежусь, — попыталась сопротивляться баба Маня.

— На вокзале милиция заберёт, — пошутил Митька. — Ведь документов у тебя нет.

— Я в душ пораньше уйду, — сказала Клава. — Митю проводим и пойдём ко мне.

Мужики ещё раз взялись за ломы. Выкатили с десятка вагонеток ломаного свара и ушли в душ. Баба Маня, подрёмывая, ждала.

Первой пришла Клава. Баба Маня едва узнала её. Клава была одета в светлый плащ, сапоги на каблучках, отчего стала ещё выше. На голове у неё была шляпа с широкими полями.

Пришли мужики, в тюремных фуфайках без воротников, чёрных рабочих костюмах, кирзовых сапогах и чёрных зимних шапках. Они тоже помылись в душе, и на вымытых лицах проступила синеватая бледность, свойственная всем, кто живёт взаперти.

— Пошли, что ли, — сказал Митька, забирая у бабы Мани мешок с пирогами. — Ты, бабуль, больше не езд.

— Слушай, Митенька, — задала баба Маня давно заготовленный вопрос. — А если я помру, тебя на похороны отпустят?..

— Ну вот! — махнул рукой внук. — Завела! Живи и радуйся!..

На улице было темно, ветрено, шёл крупными хлопьями мокрый снег. Разогретые рабо-

той и душем мужики сразу скукожились, втянули головы в плечи и засунули руки в карманы штанов.

Возле проходной на освещённой мотающимся из стороны в сторону фонарём площадке кучкой стояли люди и слышались слова команды:

— Разберись по пять человек!..

— По пятёркам становись!..

Мужики бестолково толкались, начальники злились. Митька обнял бабу Маню и трижды поцеловал в обе щеки. Старуха заплакала.

— Береги себя, Митенька! Мне бы только тебя дожидаться, ничего больше не надо.

Мужики, разбираясь на ходу по пятёркам, пошли через проходную. Митька, махнув рукой на прощанье, нырнул в толпу, а баба Маня и Клава, пропустив их мимо себя, пошли с освещённого места в тугую, круто замешенную на белом снеге осеннюю темноту.

□

### **Николай Алексеевич ПОЛОТНЯНКО**

*родился в 1943 году в Алтайском крае.*

*Окончил Литературный институт имени А.М. Горького.*

*Прозаик, поэт, публицист.*

*Автор романов, в том числе трилогии («Государев наместник», «Атаман всея гулевой Руси», «Клад Емельяна Пугачева», под псевд. Николай Суздаев, ЭКСМО, (2007–2009), а также поэтических книг: «Братина» (1977), «Просёлок» (1982), «Круги земные» (1989), «Журавлиный оклик» (2008), «Русское зарево» (2011), «Бунт совести» (2015), «Судьба России» (2016) и др.*

*Основатель журнала «Литературный Ульяновск» и главный редактор (2006–2018).*

*Награждён литературной премией имени И.А. Гончарова (2008), Почётной медалью имени Н.М. Карамзина (2011), орденом Достоевского 1-й степени (Пермский край, 2014) и др. В журнале «Север» публикуется впервые.*

